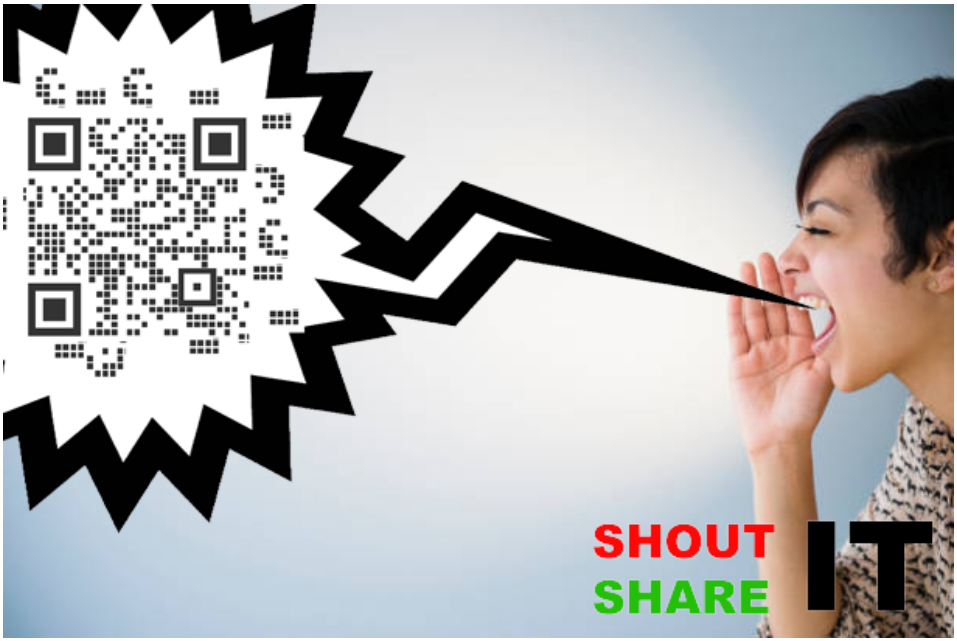
Николай Александрович Бестужев

14 декабря 1825 года


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Сабля моя давно была вложена, и я стоял в интервале между Московским каре и колонною Гвардейского экипажа, нахлобуча шляпу и поджав руки, повторяя себе слова Рылеева, что мы дышим свободою. – Я с горестью видел, что это дыхание стеснялось. Наша свобода и крики солдат походили более на стенания, на хрип умирающего. В самом деле: мы были окружены со всех сторон; бездействие поразило оцепенением умы; дух упал, ибо тот, кто в начатом поприще раз остановился, уже побежден вполовину…»

- Николай Александрович Бестужев
-

Николай Александрович Бестужев 14 декабря 1825 года

[1]

Сабля моя давно была вложена, и я стоял в интервале между Московским каре и колонною Гвардейского экипажа, нахлобуча шляпу и поджав руки, повторяя себе слова Рылеева, что мы дышим свободою. – Я с горестью видел, что это дыхание стеснялось. Наша свобода и крики солдат походили более на стенания, на хрип умирающего. В самом деле: мы были окружены со всех сторон; бездействие поразило оцепенением умы; дух упал, ибо тот, кто в начатом поприще раз остановился, уже побежден вполовину. Сверх того, пронзительный ветер леденил кровь в жилах солдат и офицеров, стоявших так долго на открытом месте. Атаки на нас и стрельба наша прекратились; ура солдат становилось реже и слабее. День смеркался. Вдруг мы увидели, что полки, стоявшие против нас, расступились на две стороны, и батарея артиллерии стала между ними с разверстыми зевами, тускло освещаемая серым мерцанием сумерек.

Митрополит [2] , посланный для нашего увещания, возвратился без успеха; Сухозанету, который, подъехав, показал нам артиллерию, громогласно прокричали подлеца – и это были последние порывы, последние усилия нашей независимости.

Первая пушка грянула, картечь рассыпалась; одни пули ударили в мостовую и подняли рикошетами снег и пыль столбами, другие вырвали несколько рядов из фрунта, третьи с визгом пронеслись над головами и нашли своих жертв в народе, лепившемся между колонн сенатского дома и на крышах соседних домов. Разбитые оконницы зазвенели, падая на землю, но люди, слетевшие вслед за ними, растянулись безмолвно и недвижимо. С первого выстрела семь человек около меня упали: я не слышал ни одного вздоха, не приметил ни одного судорожного движения – столь жестоко поражала картечь на этом расстоянии. Совершенная тишина царствовала между живыми и мертвыми. Другой и третий выстрелы повалили кучу солдат и черни, которая толпами собралась около нашего места. Я стоял точно в том же положении, смотрел печально в глаза смерти и ждал рокового удара; в эту минуту существование было так горько, что гибель казалась мне благополучием. Однако судьбе угодно было иначе.

С пятым или шестым выстрелом колонна дрогнула, и когда я оглянулся – между мною и бегущими была уже целая площадь и

сотни скошенных картечью жертв свободы. Я должен был следовать общему движению и с каким-то мертвым чувством в душе пробирался между убитых; тут не было ни движения, ни крика, ни стенания, только в промежутках выстрелов можно было слышать, как кипящая кровь струилась по мостовой, растопляя снег, потом сама, алея, замерзала.

За нами двинули эскадрон конной гвардии, и когда при входе в узкую Галерную улицу бегущие столпились вместе, я достиг до лейб-гренадеров, следовавших сзади, и сошелся с братом Александром; здесь мы остановили несколько десятков человек, чтобы, в случае натиска конницы, сделать отпор и защитить отступление, но император предпочел продолжать стрельбу по длинной и узкой улице.

Картечи догоняли лучше, нежели лошади, и составленный нами взвод рассеялся. Мертвые тела солдат и народа валялись и валились на каждом шагу; солдаты забегали в домы, стучались в ворота, старались спрятаться между выступами цоколей, но картечи прыгали от стены в стену и не щадили ни одного закоулка. Таким образом, толпы достигли до первого перекрестка и здесь были встречены новым огнем Павловского гренадерского полка.

Не видав, куда исчез брат мой, я поворотил в полуотворенные ворота направо и сошелся с самим хозяином дома [3] ; двое порядочно одетых людей бросились также в ворота, и в ту минуту, как первый пригласил нас войти, картечь поразила одного из последних, и он, упав, загородил нам дорогу.

Прежде, нежели я успел нагнуться, чтобы приподнять его, он закрыл глаза навеки, кровь брызгала в обе стороны из груди и спины, пуля пробила его насквозь.

– Боже мой! Нельзя ли ему помочь! – воскликнул хозяин.

Шинель молодого человека свалилась с плеч при падении.

Я безмолвно указал ему на рану, которая начиналась немного ниже левого соска и оканчивалась против самого хребта.

– Да будет воля божия! – сказал хозяин. – Пойдемте ко мне, иначе еще кто-нибудь из нас убудет.

Итак, мы трое, перешед двор, остановились на крыльце; хозяин постучался в дверь; громкий лай собаки, раздавшийся, как гром, в пустых покоях, ответствовал ему.

О росте собаки можно было судить по необыкновенному ее голосу.

– Позвольте мне теперь спросить, господа, кого я имею честь у себя принимать, – говорил хозяин, пока послышался голос слуги, начавшего унимать собаку, отпирать дверь и отодвигать запоры.

Я распахнул шинель, и как полная форма мундира, штаб-офицерские эполеты и крест могли служить достаточным ответом, хозяин учтиво мне поклонился.

– А вы?..

Молодой человек очень приятной физиономии сказал ему свою фамилию и место службы – я жалею, что не помню ни того ни другого.

В эту минуту замок, запор и несколько задвижек были отодвинуты, дверь приотворилась и слуга высунул голову.

– Я не один, подержи собаку, пока мы пройдем, – сказал хозяин и, подав нам обоим руки, пригласил войти в дом; предосторожность его была необходима, потому что датская собака чудовищной величины рвалась из рук слуги, едва могшего удерживать ее за ошейник.

Мы вошли в комнату нижнего этажа, и когда подали свечу, хозяин приказал запереть снова двери, закрыть ставни на набережную и на двор и не сказывать его дома.

Пушечные выстрелы гремели по улице и на Неве, ружейная пальба не переставала по обе стороны дома; все, что я сказал, едва ли продолжалось десять минут, потом пушки замолкли, ружейные выстрелы слышались изредка, наконец, и те перестали.

Подали чай без сливок, потому что хозяин постился. Разговор наш, хотя и относился до ужасных происшествий сего дня, был сух и холоден. Все трое были незнакомы друг другу, недоверчивость связывала каждому язык, принуждение каждого светилось сквозь светскую учтивость, когда мы остались друг с другом.

Тут я рассмотрел хозяина: он был с меня ростом и по виду лет 45 мужчина, но с цветущим здоровьем, с приятным и красивым лицом. Постоянные черные глаза ручались за твердость его характера, в черных волосах не было ни одной седины, которая бы обнаружила излишество внутреннего огня. На сером фраке, шитом столько по моде, чтоб не отстать от ней и не походить на бульварных щеголей, надета была неаполитанская звезда.

Наконец, на обеих сторонах дома все утихло; слуга, выходивший несколько раз за ворота, сказывал, что по улицам и набережной разъезжают одни патрули.

Тогда молодой человек встал, поблагодарил хозяина за гостеприимство, повторил свою фамилию и был выпущен слугою на безлюдную набережную. Пределы приличия не позволяли мне оставаться долее; но я считал еще опасным выйти на улицу и, когда хозяин, проводя своего гостя, подошел ко мне с таким видом, будто желал и моего ухода, я ему сказал:

– Вы сделали великодушное дело, укрыв нас от картечей, и теперь, когда их нечего бояться, молодой мой товарищ ушел; по законам учтивости должно бы уйти и мне, но ваши поступки внушают мне доверенность: я должен сказать причину, почему прошу у вас гостеприимства еще на час или на два, – я один из приведших на площадь войска, не присягнувшие Николаю.

Хозяин мой побледнел, сомнение выразилось на его лице.

– Теперь дело сделано, – продолжал я, заметив перемену, – вы властны располагать мною: или выдать, как бунтовщика, или укрыть, как преследуемого несчастливца.

Он протянул руку.

– Вы остаетесь у меня, сколько нужно для вашей безопасности, – сказал он.

– Рассудите, на что вы решаетесь: сверх мною сказанного, вы обязаны объявить, кого вы укрываете… я…

– Не нужно… мне довольно одного вашего несчастия, – сказал он, торопливо взяв меня за руку и сажая с участием на стул.

– Вы великодушный человек, – отвечал я, – в таком случае я не употреблю во зло вашего снисхождения, за которое да заплатит вам бог.

– Мы начнем с того, что перейдем отсюдова в другую комнату, потому что я занимаю обыковенно эту, а ко мне может кто-нибудь зайти, увидя сквозь ставни огонь.

Сказав это, он вывел меня в комнату, похожую на кабинет, но заставленную разными мебелями.

– Жена моя в деревне, – продолжая он, – я собираюсь также на днях ехать, и потому весь дом пуст, кроме моих двух комнат и третьей, где живет мой сын, служащий адъютантом у ***.

Мы сели, и разговор наш сделался откровеннее. Речь была о расположении войск. Хозяин мой был любопытным свидетелем на площади и видел, желали ли нового государя, и когда по сцеплению мыслей мы дошли до того, кто привел неприсягнувшие полки, я упомянул свою фамилию.

Хозяин мой остановил меня.

– Не сын ли вы Александра Бестужева, бывшего капитаном в инженерном кадетском корпусе?

Я отвечал утвердительно.

– В таком случае рад, – продолжал он, – что могу оказать услугу сыну моего благотворителя. Я воспитывался под его начальством, а потом, могу сказать, был его другом, пока обстоятельства не разлучили нас.

Здесь он рассказал мне свою жизнь, не богатую занимательными происшествиями; самое замечательное было то,

что он коротко был известен покойному императору, переписывался с ним и имел несколько от него поручений в чужих краях, будучи употребляем также и как корреспондент ученого артиллерийского комитета; рассказывая свои сношения с Александром и любовь к нему, он дал волю чувствам и, когда кончил похвалы, вынул висевший на груди его портрет государя, поцеловал его с благоговейными слезами и прибавил, что это был подарок самого государя, потому данный, что он не хотел принять никогда никакую награду.

Ласки моего хозяина, которого я узнал имя и фамилию, обворожили меня; я не замечал, как проходило время; было уже около 8 часов вечера, вдруг собака залаяла, у дверей поднялся страшный стук, наконец, разговоры в комнатах, хозяин немного смутился, но когда он увидел вошедшего к нам молодого человека в адъютантском мундире, он мне шепнул, что это – его сын.

Красивый молодой человек лет двадцати двух, среднего роста, рассказал отцу, что он едва мог урваться из дворца, чтобы переодеться, и что должен немедля опять ехать туда же.

Молодой человек столько был занят происшествиями этого дня, что почти вовсе не заметил меня, не спрашивал отца о том, что с ним случилось, и с жаром рассказывал о действиях государя, войск и артиллерии.

– Чем же все это кончилось? – сказал мой хозяин. – Я ушел с площади, только что начали стрелять, и потому не знаю остального.

– Одним словом, батюшка, эту толпу мерзавцев разогнали, несколько человек офицеров, с ними бывших, захватили; теперь открывается, что зачинщики всего – братья Бестужевы; их тут без счету, и ни одного из этих подлецов не могла поймать.

Я сжал руки и стиснул зубы, но здесь не место было вступаться за свою обиженную честь. Хозяин мой вздрогнул, взглянув при сих словах на меня, и начал:

– Не брани, любезный друг, так легкомысленно людей, не рассудив хорошенько о их поступках. Ты смотришь на них с одной стороны, видишь их глазами придворного, но если бы ты, подобно мне, был на площади между ними, тогда бы ты согласился, что требования их были очень справедливы.

Здесь хозяин рассказал, на чем основывалось недоверие солдат, сколько могло быть законно отречение Константина, не известное никому и которому не дано было никакого последствия, и как можно было положиться на новую записку его, писанную из Варшавы. Одним словом, говорил благоразумно, так что молодой человек должен был с ним согласиться и с сим

убеждением уехал.

– Вы видите, – продолжал хозяин, – что вам небезопасно оставаться в моем доме, имея сына моего с сими мыслями отъявленным неприятелем вашим.

– Я и не намерен оставаться долее, – сказал я, – и хочу, поблагодаря вас, проститься.

– Нет, еще рано, мы поужинаем, дадим еще успокоиться городу и потом расстанемся…

Примечания

1

Впервые напечатано А. И. Герценом в «Полярной звезде» (1861, т. VII), затем в брошюре «Памяти братьей (так! – *Я. Л.)* Бестужевых. Издержки из современных записок декабристов. Лейпциг, 1880». С исправлениями по автографу напечатана М. К. Азадовским в книге «Воспоминания Бестужевых». В настоящем издании воспроизводится этот текст.

Публикуя текст, А. И. Герцен писал: «После кончины Н. Бестужева найдена было еще несколько отрывков, относящихся ко дню 14 декабря 1825 года. Один из этих отрывков, по-видимому, является продолжением воспоминаний о Рылееве; второй же относится к другой рукописи. Описанный случай крайне драматичен. Но где же начало? Где продолжение? Какое непоправимое несчастье, если мы утратили это святое наследие одного из лучших, самых энергичных участников великого заговора!» (Герцен А. И. Полн. собр. соч., т. XX. М., АН СССР, 1966, с. 266).

Отрывок, вероятно, был задуман как один из серии рассказов о 14 декабря, его подготовке, деятелях и самом восстании. Следы еще одного эпизода из этой серии – рассказ о попытке побега Н. Бестужева за границу дошел до нас в устных преданиях (см. об этом: Левкович Я. Писатели-декабристы в восприятии современников. – В кн.: Писатели-декабристы в воспоминаниях современников, 2-е изд., т. 1, М., 1980, с. 34–35).

2

Митрополит – Серафим, которого встретил на площади В. К. Кюхельбекер и посоветовал ему удалиться (см.: Завалишин Д. И. Записки декабриста. Спб., 1906, с. 187–198). Слухи об этом эпизоде быстро разнеслись по городу. А. Е. Измайлов писал племяннику: «И митрополит струсил было, когда надобно было ему идти уговаривать бунтовщиков. „С кем же пойду я?“ – спросил он одного генерала. – *С богом!* – отвечал тот <…>» (Пушкин. Исследования и материалы, т. VIII. Л., 1978, с. 183).

3

Хозяином дома был Алексей Яковлевич Ляшевич-Бородулич,

отставной корреспондент Военно-ученого комитета. 20 декабря он, опасаясь, что Н. Бестужев назовет его во время следствия, написал письмо Николаю I с сообщением о пребывании у него Бестужева. Бестужев его не назвал, но письмо это послужило основанием для внесения имени Ляшевича-Бородулича в «Алфавит декабристов» (см.: Восстание декабристов. Материалы по истории восстания декабристов. Под общ. ред. М. Н. Покровского, т. VIII. Л., 1825, с. 121).

В своем письме к Николаю I Ляшевич-Бородулич просил заключить его «в то место, где содержался Ник. Бестужев, на столько времени, сколько нужно будет для совершенного обращения его, Ник. Бестужева, на путь истины». Из поведения «хозяина» очевидно, что в своем рассказе Бестужев несколько идеализирует его.